

VII. Воспоминания

Мы строим московскую «линию Мажино»: воспоминания Ильи Кремера

Накануне войны в моей жизни произошли коренные перемены – я был впервые влюблен. В декабре 1940 г. комитет комсомола исторического факультета МГУ послал меня, студента второго курса, проверять работу комсорга одной из групп на первом курсе. Комсорг оказалась очень красивой девочкой, проверка ее работы закончилась быстро и благополучно. Дочь старых большевиков к своей работе относилась очень серьезно, и проверка завершилась двумя походами в Большой театр.

У меня, правда, возникла проблема – идти мне было не в чем, черная толстовка с пояском была моим единственным костюмом. На помощь пришел мой знакомый – курсант военной академии Борис Натухин. Он был большим франтом, имел целую стайку девушек, и я с завистью наблюдал, как легко он с ними общается. В его штатском гардеробе был красивый дорогой костюм, мы долго примеряли его на меня, одергивали, оглаживали и в конце концов пришли к выводу, что заметные недочеты в одежде вполне могли быть и виной портного. То ли я, то ли костюм произвели нужное впечатление на мою избранницу, и с этих дней мы фактически не расставались. Поздно ночью я уезжал из дома возле Моссовета в общежитие на Стормынку, в темноте отыскивал в огромной комнате свою кровать среди шестнадцати других.

Утром перед населением общежития вставала задача – попасть в переполненный трамвай, шедший к метро «Сокольники». Мощным тараном историков был Арчил Джапаридзе, сын одного из 26 бакинских комиссаров, крупный и сильный парень.

А дальше – Моховая, лекции, встречи с моей любимой в перерывах, совместная еда за рубль в студенческой столовой и прогулки по Александровскому саду. Вечер мы проводили дома у Инессы, где в 2-комнатной (переделанной ее родителями в 4-комнатную) уютной квартире кроме нее жили отец, мать, 15-летний брат и овчарка с отвратительной манерой класть мне лапы на грудь при встрече.

Хотя в своем городе в Брянской области я считался способным парнем, печатал революционные стихи в местной газете *Труд* и школу кончил с «золотым» аттестатом (медалей тогда не было), очень важные уроки жизни я получил именно в эти месяцы до войны. Убежденный комсомолец, я одобрял все, что делалось в стране, помню лишь, что в дневнике, который я вел, в разгар террора появилась фраза – «кому же теперь можно верить?». Это относилось, кажется, к осужден-

ным маршалам. Но поскольку всегда на месте оставался великий руководитель, который воплощал в себе все наше будущее, включая и близкую мировую революцию, я был спокоен. Инесса впервые открыла мне глаза на то, что происходило, по крайней мере – в столице. До 18 лет она жила в «Доме правительства», где случались странные и страшные события, где родители ее соучеников и просто соседи исчезали каждую ночь. Никто из них никогда не возвращался. Впечатлительная девочка, очень привязанная к отцу, не спала ночами, прислушиваясь, на каком этаже останавливается лифт с посланцами Лубянки. Некоторые квартиры меняли своих хозяев 2-3 раза. В эти же дни из других домов исчезали родные дяди Инессы (один из них, Владимир Розовский на известной фотографии 1919 г. идет рядом с Лениным на параде войск Всевобуча), самый близкий друг ее отца, автор истории партии Вилли Кнорин, родители друзей. Собственные родители (отец вступил в партию еще в марте 1917 г.) оправдывали всё. На вопросы девочки, мог ли дядя Вилли стать врагом народа, отец отвечал: «Неужели ты не понимаешь, что члена ЦК не арестуют просто так? Раз такого человека арестовали, значит, он виноват».

Из-за близких дружеских и родственных связей с «врагами» родители Инессы начали терять свои служебные позиции (мать, Полина Розовская, ректор финансового института Госплана, была исключена из партии и уволена с работы, отец перестал быть членом коллегии Министерства финансов). Теперь проживание в «Доме правительства» им было уже не по чину и их переселили в новый дом на ул. Горького (теперь – Тверская). Оказалось, что у них нет никакой собственности, в старом жилье все обставлялось за казенный счет, теперь в квартире постепенно появлялись стулья, кушетки и даже раскладушки.

Похоже, что я пришелся по сердцу отцу Инессы, до революции – полуграмотному столяру, а в 1917 г. – одному из организаторов советской власти в Минске (много лет спустя мы видели его портрет в музее белорусской столицы). Он был человеком прямым, доброжелательным и сразу понял, что наш роман с его дочерью – дело серьезное.

Помню, как вечером, в канун 1 мая 1941 г., когда мы с ним вышли в Елисейевский магазин за продуктами, он вдруг сказал мне: «Зачем тебе каждый вечер ехать так далеко? Ночуй у нас». Не сразу, но постепенно я стал пользоваться этой привилегией и спал в «общей» комнате, где семья обычно питалась. Мы ни разу не говорили с Инессой о браке, но в подсознании уже складывалось желание никогда не расставаться.

Между тем, вокруг нас в мире многое происходило. В апреле немцы вторглись в Югославию, разбили югославскую армию, вошли в Грецию, спустились к югу и с воздуха захватили Крит. В первые дни мая И.В. Сталин выступил в Кремле перед выпускниками военных академий. В газетах, как всегда в то время, была помещена лишь небольшая формальная информация, но по столице ходили слухи, что речь была тревожной, и в ней что-то якобы говорилось о возможной близкой войне.

Однажды воскресным утром к нам на ул. Горького заехал мой земляк из г. Клинцы и сосед по комнате в общежитии Эммануил Гафт. Первое, что нас поразило – он был острижен наголо. «Поехали, ребята, в Парк культуры, возьмем лодку, покатаемся, я вам все расскажу». В то время на лодочной станции недалеко от Крымского моста можно было взять на пару часов лодку и кататься хоть по середине реки.

Когда мы отъехали подальше от берега, Эммануил сказал, что у него в Москве есть родственник, занимающий высокий пост в военной иерархии. Генерал по секрету сообщил ему, что после разгрома Югославии и Греции немцы перебрасывают войска к советской границе. А главное – генерал сам слушал Сталина 2 мая в Кремле. Офицерам было сказано, что у них нет времени на «раскачку» и освоение в своих частях, ибо не исключено, что война уже на носу.

Много лет спустя мне довелось беседовать с еще одним участником кремлевского собрания – генералом армии Николаем Григорьевичем Лященко, уже успевшим до большой войны повоевать в Испании и окончить военную академию. К слову сказать, Н.Г. Лященко был одним из немногих знакомых мне генералов, кто не простил Сталину ни истребления офицерского корпуса в 1937-1941 гг., ни просчетов в начале и в ходе войны. Рассказывая, что несколько тысяч выпускников больше часа ждали опаздывавшего вождя, он неожиданно заметил: «Наконец, в глубине сцены открылась какая-то дверь и появилась эта рябая сволочь».

Хотя первая часть речи Сталина была посвящена успехам перевооружения Красной Армии, появлению в частях новой техники, которую выпускники академий должны как можно скорее освоить, во второй ее части действительно содержались не только привычные призывы к «бдительности», но говорилось и о дефиците времени.

А что же было дальше? Маршал Тимошенко, близко знавший генерала Лященко, рассказал ему, что Г.К. Жуков, сменивший на посту начальника Генштаба арестованного К.А. Мерецкова, был, похоже, тоже очень встревожен, ибо имел детальную информацию о положении на границах Прибалтики, Белоруссии и Украины. В середине мая 1941 г. он направил руководству страны докладную записку с предложением расстроить с помощью сильного превентивного удара Красной Армии уже явно спланированный удар по Советскому Союзу. Начальник Генштаба не мог не знать, что перевооружение Красной Армии находится в начальной стадии, что строятся, но еще не вступили в строй новые авиазаводы, что старая оборонительная линия – у Минска – разоружена, а новая – в районе Буга – еще не построена. Но, по-видимому, калькулируя «за» и «против» того или иного развития событий, Жуков считал, что риск немецкого наступления превосходит риск упреждающих сражений на территории Польши, которые он предлагал.

К своей докладной записке Жуков приложил подробные схемы действий Красной Армии. Ответа от руководства страны не было. Тогда, по словам Н.Г.

Лященко, Жуков стал настойчиво просить Тимошенко (как и другие выходцы из 1-й Конной Армии, нарком обороны пользовался определенным доверием у вождя еще с царицынских времен) договориться со Сталиным о подробном докладе по поводу ситуации на границе.

В первых числах июня Тимошенко и Жуков были приглашены на заседание политбюро ЦК ВКП(б). Они приехали немного раньше назначенного времени, укрепили на стене карты и схемы.

Наконец, за столом появились вожди – Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян и другие. Вошел Сталин, спросил, кто будет докладывать – Тимошенко назвал начальника Генштаба. Жуков с указкой в руках начал подробно объяснять критическое положение, сложившееся на западной границе, и заявил, что Красная Армия не должна пассивно ждать мощного удара трех группировок противника. Сталин во время доклада Жукова не садился, а ходил по комнате. Неожиданно он остановился перед Жуковым и буквально тыча трубкой ему в лицо, стал в большом раздражении говорить: «Вам что, мало чинов и орденов, которые мы вам дали? Захотелось поиграть в войну?», – и – повернувшись в сторону Тимошенко: «Посмотрите на этого человека. Какой большой человек и какая маленькая голова. Если бы я его не знал еще со времен Гражданской войны, я бы решил, что перед нами сидит провокатор. Я предупреждаю вас обоих – если вы будете провоцировать немцев, передвигать свои дивизии туда-сюда, головы ваши полетят». После этого Сталин покинул комнату. До начала войны оставалось около 20 дней.

Катаясь в середине мая на лодке по Москве-реке, мы с Инессой ничего этого знать не могли. Тревожно звучали слова моего друга. «Сегодня я постригся наголо. Если начнется война, я в ту же минуту побегу в военкомат. Я не буду прятаться и знаю, что с этой войны я не вернусь». Он не вернулся. Но через неделю после начала войны мы оба оказались под Рославлем, на р. Десна, где энергия многих тысяч студентов была использована для строительства глубокой «противотанковой» траншеи. Когда мы вернулись в середине августа в Москву, Гафт (как и другой мой друг – Лазарь Керженевич) ушел в армию.

В 1943 г. я зашел на исторический факультет (в здание на Моховой попала бомба и историки учились в бывшей школе на Большой Бронной). Я ожидал звонка на перерыв в пустом коридоре, по которому бодро вышагивал один человек – охранник Светланы Аллилуевой, слушавшей в это время лекцию в аудитории¹. Чтобы убить время, я подошел к стенной газете *Историк-марксист*. В правой полосе было напечатано письмо с фронта. Командир части, в которой воевал мой дорогой друг и земляк, сообщил руководству университета, что бывший студент-историк Эммануил Гафт храбро сражался, но во время последнего боя, ко-

¹ Светлана писала в своих воспоминаниях, что после поступления в Университет она отказалась от охранника. Но в 1943 г. – он ещё был, я его видел.

гда часть отражала атаку танков, он, связав несколько гранат, бросился под фашистский танк и погиб смертью героя.

Я сравнительно поздно попал на фронт из-за сильной близорукости. Один глаз требовал линзу с -5 диоптриями, другой – с -3,5. Похоже, что провинциальный мальчик, запоем читавший при керосиновой 8-линейной лампе, успел к 18 годам здорово испортить зрение. Да к тому же мои глаза каким-то образом, не будучи косыми, смотрели не под нужным углом, что называлось красивым, но непонятным словом «астигматизм». Первый раз я был забракован осенью 1941 г. в Москве, когда набирали отряды лыжников для защиты города.

Это было вскоре после нашего возвращения с р. Десна. Как уже было сказано, там, недалеко от Рославля, мы, студенты МГУ и других московских институтов, многие тысячи молодых людей, строили линию обороны – глубокий ров на несколько сот километров, 3 метра глубиной и 3,5 – шириной по верхнему обрезу. Из историков, помимо упомянутых в этой статье, помню А. Черняева, С. Шмидта, А. Каждана, В. Карасева, В. Александрова, Г. Раевского, Г. Цявловского, Б. Каневского, Р. Лаврова и других. Жесткие нормы, установленные прорабами – нужно было «выбросить» на бровку не меньше 6 кубометров земли в смену, нередко с большой глубины, приводили в отчаяние городских мальчиков, первый раз в жизни державших лопату в руках. Недалеко от историков трудились математики и среди них сын многолетнего наркома иностранных дел – Миша Литвинов. Между тем, по «трассе» прошел слух, что за невыполнение нормы будут наказывать «по законам военного времени». Это вызвало новый подъем трудового энтузиазма у будущих интеллигентов. 23 июля десятки тысяч студентов вообще трудились «со слезами на глазах» – по траншеям разнесся слух, что Москву накануне бомбили. Почти у всех кто-то оставался в столице – отец, мать, любимая девушка. Настроение было тяжелым. Слух оказался правдой. Помню, как перед нами, студентами младших курсов, выступил Михаил Гефтер, занимавший какой-то пост в штабе великой студенческой стройки. Именно он был одним из тех ораторов в Коммунистической аудитории Московского Университета на Моховой улице поздно вечером 22 июня 1941 г., кто говорил, что финская война не дала нам раскрыть свою силу, а вот начавшаяся сегодня война с немецкими фашистами позволит нашему народу развернуться во весь рост. Теперь, месяц спустя, он сохранял всю свою бодрость и силу убеждения очень способного, харизматического человека, и нам всем стало как-то легче после его речи. Бомбежки Москвы не были слухом, но слухов было полно. Уже в начале июля мы «узнали», что наш «первый красный офицер», один из двух уцелевших в 1938 г. маршалов – К.Е. Ворошилов выступил по радио из якобы занятого нашими войсками Хельсинки, что Красная армия успешно наступает.

Между тем дела на фронте шли все хуже. По ночам, лежа в шалаше, я и мои друзья-историки – Лазарь (Зоря) Керженевич и Анатолий Миркинд – прислушивались к гулу самолетов, летевших на Москву, и к бомбовым ударам по крупному аэродрому на Брянском направлении. Работать днем стало опасно, и нам прика-

зали днем спать, а ночью – от темноты до рассвета – копать свою линию Мажино. Тут надо сказать, что пища наша тоже не соответствовала тяжелому физическому труду. Меню состояло из одного блюда – тарелки пшенной каши, которую мы получали днем. О каких-либо витаминах и думать было нечего. Это сыграло тяжелую роль в судьбе Александра Каждана, будущего византиниста с мировой известностью. Он почти ослеп и не выходил из соседней избы.

Где-то недели через три село стала покидать советская власть – все работники сельсовета, руководители колхоза, их родственники. В телегу запрягались еще сохранившиеся лошади, а к перекладам привязывали коров, в саму телегу ставили какие-то железные ящики из сельсовета, а по бокам рассовывали детей. Вся деревня вышла на площадь провожать своих добрых и недобрых начальников. Слышали ли вы когда-нибудь, как плачет деревня? Это был тяжелый, надрывный стон, в который вплетались и мотивы страха перед близкой оккупацией, и «на кого вы нас покидаете?».

Как выяснилось, их покидали на меня. Село недолго оставалось без власти. Где-то за несколько километров от Снопоти, там, где помещался «штаб трассы», в тот же вечер решилась моя судьба. Я был назначен «комендантом села Снопоть» и должен был теперь сидеть у телефона в сельсовете, принимать распоряжения еще не отовсюду сбежавшей власти. В случае необходимости я должен был собрать по избам все вещи студентов и обеспечить быструю эвакуацию оставшихся при мне инвалидов – Сигурта Шмидта, Саши Каждана, Саши Ревзина, Виктора Хайцмана и других.

В память запали 2-3 эпизода этих мрачных июльских и августовских дней. В сельсовет зашел милиционер, отступавший самостоятельно, но не терявший выправки и достоинства. Он был увешан оружием. На плечах висели две винтовки, в двух кобурах – пистолеты. За пояс засунуты три или четыре танковые гранаты. Его широкая русская душа не могла терпеть, чтобы советская власть в Снопоти оставалась без защиты, и он торжественно подарил мне одну гранату с длинной деревянной ручкой. И чудо – я почувствовал себя как-то увереннее.

Странно вел себя телефон. К нему подключались какие-то русские голоса и сообщали, что с. Снопоть уже обойдено немцами, и что нам очень повезет, если мы успеем оттуда сбежать. Но уйти без приказа мы не могли – многолетнее воспитание не позволяло об этом и думать. Лично я всегда был убежденным патриотом, очень сочувственно и даже с жалостью относился ко всем, кто не живет в СССР, и плакал в дни поражения испанских республиканцев. В школе я был членом комитета комсомола и председателем совета старост – старостата. Еще совсем маленьким я был облечен особым доверием школьного руководства – мне поручили в каком-то революционном скетче под названием «Смерть вождя» сыграть роль великого Ленина – в очередную годовщину Октябрьской революции я лежал в гробу (предполагалось, что в Колонном зале), закрыв глаза и в лысом парике, а вокруг меня в слезах ходили потрясенные трудящиеся, в том числе обе мои младшие сестры. Хотя мои родители, находившиеся среди зрителей, счита-

ли, что я играл хорошо, это был единственный и последний успех, как говорили великие режиссеры, «на театре».

Одним из ярких впечатлений августовских дней 1941 г. был провод через село группы из 30-40 немецких пленных, сброшенных на парашютах и захваченных нашими солдатами. В касках, аккуратно одетые, загорелые и сытые, они спокойно шли под охраной 3 или 4 конных конвоиров. Ни мы, ни сельские жители не произносили ни одного слова, никак не реагировали на это событие. Война только начиналась и еще не произвела того ожесточения в душах, которое пришло позже. Мимо нас шли даже не враги, а противники, потерпевшие этой ночью неудачу. Интересно сравнить эти чувства с тем, что я испытывал 3 или 4 мая 1945 г. в Берлине, когда оставленный один ночевать в центре города в бывшей немецкой казарме (в зенитном бункере), я дрожал от ночного холода, но не мог заставить себя укрыться немецким солдатским одеялом, которые там лежали десятками. В это время «немецкое» означало – фашистское, грязное, оскверненное, вызывавшее брезгливость.

Но вернемся в Снопоть. Мои товарищи перестали приходить «с трассы» на ночевку в село, ибо, как уже сказано, ночью работали, а днем кое-как отдыхали на еловых ветках в лесу. Между тем, канонада все приближалась. Мы не знали, что противник уже так близко подошел к нашей гигантской «канаве», не знали, что бои уже идут в Смоленске. Позднее, как мне рассказали, наш «Западный вал» не задержал немецкое наступление на Москву. Мы еще тогда, в августе, удивлялись, что никто не появляется, чтобы построить укрепления вдоль рва – доты или другие сооружения (во всяком случае, до середины августа). Никаких инженерных частей мы не видели, и подозрение о бессмысленности нашей работы появилось в наших головах. Правда, большинство из нас жило с убеждением, что нацистские танковые авангарды не дотянутся до нас, что они будут где-то остановлены. Но канонада становилась все громче. Я начал всерьез опасаться, что меня с несколькими моими инвалидами просто забудут.

Но однажды вечером произошли неожиданные события. К сельсовету подкатила грузовая машина, и шофер сообщил, что я должен с помощью больных собрать по домам все студенческие вещи, погрузить в эту машину, и нам предписано всем вместе срочно покинуть Снопоть и выехать в восточном направлении. Едва только я успел направить свою инвалидную команду по хатам, как увидел на улице бегущую к сельсовету женщину. Задыхаясь от бега, она нервно, срываясь на крик и истерику, сообщила, что ее семью односельчане из соседней деревни не выпускают, удерживают силой, не позволяя эвакуироваться. «Немцы сейчас войдут в деревню, может быть, уже вошли, пока я бежала, а нас не пускают». Я подозвал своего однокурсника – Сашу Ревзина. «Саша, сходи с этой женщиной, всего два километра, помоги семье уехать, я задержу грузовик». Появился Сигурт Шмидт, увешанный ботинками и брюками наших товарищей, другие больные забросили все в машину и сели возле сельсовета, ждем Сашу. Шофер нервничает: «Попаду я с вами в беду. Темнеет уже. Говорят, много десантов

немцы бросают». Я что-то рассказываю, отвлекая ребят, себя самого и водителя от страха и, вместе с тем, тяну время. Нервничаю страшно. Как же уехать без Саши? Решаю, что если машина с ребятами уйдет, я должен остаться и ждать. Наконец, терпение шофера иссякло, он сел в кабину, мотор затарахтел. «Вы как хотите, я поехал!»

В этот критический момент в конце улицы появился клубок пыли, а через минуту нарисовался Саша. Мы вскарабкались в кузов и поехали. Саша рассказал, что сделать ничего не смог. Речь шла о семье, которая годами «стучала» на односельчан, не одна семья потеряла своего главу из-за «бдительности» активного соседа. А теперь крестьяне говорят: «Никуда мы этих гадов не пустим. Сдадим их немцам. Может, хоть они найдут управу на сволочей». Я был счастлив, что Саша вернулся, и нам не придется пешком пробираться вдвоем – куда, мы и сами не знали.

Через два дня во главе сорока человек меня отправили в Москву. В телеге ехали те, кто уже не мог идти. Наконец, вечером подошел короткий поезд, мы сели и утром на рассвете вышли на площадь Киевского вокзала. Было 12 августа 1941 г. Тарелки громкоговорителей передавали последние известия. Мы уловили фразу: наши войска оставили город Смоленск.